

СОЦИАЛЬНОЕ ПОЗНАНИЕ В КОНТЕКСТЕ ЛИНГВИСТИКИ И ПСИХОЛОГИИ

Автор: Р. М. ФРУМКИНА

Как лингвист и психолог я попытаюсь высказать некоторые соображения, на мой взгляд, полезные для социологов. Начну с нехитрого примера. На радио "Эхо Москвы" в режиме диалога со слушателями обсуждалось, что следует понимать под выражением "социальная ответственность компании". Диалога не получилось, потому что все участники по-разному понимали смысл данного словосочетания. В самом деле. Если отвлечься от особенностей нашей социальной реальности и трактовать это выражение максимально "наивно", то можно сказать нечто в таком роде: "*Социальная ответственность компании - это моральные обязательства сильного по отношению к (относительно) слабым*". Понятно, что подразумевается богатая компания, которая реально, то есть без ущерба для себя, может сделать для социума нечто, непосильное для частного лица, будь то благотворительность, забота об экологии или особое внимание к охране здоровья собственных сотрудников.

Может или *обязана*? И разве государство как таковое не имеет подобных обязательств? Или ответственность государства не является *социальной*? Существует ли вообще *ответственность* безотносительно к реальной *возможности* за что-то "отвечать", то есть действовать, исходя из своих соображений о ценностях, целях, нравственности и т.п.?

Вообще-то и да, и нет. Например, я считаю наше телевидение не просто пустым, но еще и в основной своей части откровенно *социально* вредным и безответственным - то есть вредным не для меня лично, а для моих сограждан. Я могу это высказать в принятых в цивилизованном обществе формах: например, написать в газету. Ясно, что с моей стороны - это ответственное социальное действие, хоть и заведомо неэффективное.

Но, быть может, само понятие *действителя* в сфере социального действия соотносимо не с индивидом, а с организацией? Тогда я по упомянутому выше поводу *могу* высказываться, но *могу* и помалкивать, зато Фонд защиты гласности или политическая партия, записавшая в свою программу соответствующие цели и идеалы, высказываться *обязаны*, - они приняли на себя эту функцию, такова их *социальная ответственность*.

Разумеется, на эту и близкие темы написаны целые библиотеки, однако же спор не выглядит беспредметным: он лишь требует обязательного уточнения смыслов всех

В основу статьи положено выступление на пленарном заседании XIII ежегодного симпозиума Московской высшей школы социальных и экономических наук и Междисциплинарного академического центра социальных наук (Интерцентра). В 2006 г. он был посвящен теме "Пути России: проблемы социального познания".

Ф р у м к и н а Ревекка Марковна - доктор филологических наук, профессор, главный научный сотрудник Института языкознания РАН.

важных понятий. Ведь понятие *ответственности* имеет разное наполнение в обыденной речи, а в социологии и психологии это термин, смысл которого определяется доктриной, в рамках которой термин функционирует.

Все сказанное выше - банальность. Тем не менее эта банальность подтверждает, что функционирование социологии имманентно связано с некоторой системой понятий из области психологии как науки о человеке, а также из области лингвистики как науки о *смыслах* и способах их *выражения*. Иными словами, лингвистика и психология образуют *контексты*, вне которых социология существовать не может.

Аналогичные предпосылки стоят за позициями, которые сформулировал А. Ослон в тексте публичной лекции, опубликованной на сайте [polit.ru](http://www.polit.ru/lecturs/2006/07/18_oslon.html): "Очевидно, что язык, которым владеют участники социальных процессов, - фундамент их социальной реальности. При этом каждый участник социальной реальности имеет собственные специфические представления о ней, но эта специфика "прячется" где-то глубоко в индивидуальных представлениях. А на поверхности - то общее, что делает достаточно вероятным хотя бы какой-то уровень взаимопонимания". И далее там же: "Теория, принятая на вооружение, ставшая моим личным знанием, становится моим собственным субъективным представлением, и она может передаваться и распространяться в ходе коммуникаций как непосредственных, "лицом к лицу", так и опосредованных, с помощью медиа-посредников - то есть через книги, газеты, телевизор и т.д. Когда мы общаемся, мы непрерывно создаем, подтверждаем, трансформируем социальные теории, которые в модифицированном виде продолжают распространяться до тех пор, пока происходят коммуникации" (http://www.polit.ru/lecturs/2006/07/18_oslon.html).

Коммуникативные процессы - как на вербальном, так и на невербальном уровне (жесты, взгляды, мимика, позы и т.п.) как раз и изучаются лингвистикой, психолингвистикой, психологией. В силу сказанного уместно начать с того, чтобы кратко описать структуру этих наук, как она сложилась к настоящему моменту.

Современная лингвистика - не некая единая наука, а несколько областей знания, мало или почти вовсе не связанных между собой. Дело даже не в том, что у исследователей, занятых в этих областях, весьма дифференцированы сферы интересов: что общего, например, между изучением русских диалектов и исследованием детской речи? Более важно иное: разные области лингвистики имеют совершенно разные представления о *методах* и *методиках*, о сущности научных задач, о том, что вообще следует считать *знанием* в отличие от *мнения*. Если отнестись к ситуации более скрупулезно, то обнаружится, что у разных лингвистов совершенно разная эпистемология, и потому построения, которые одни исследователи считают наукой, для других будут выглядеть в лучшем случае эссеистикой.

В психологии примерно та же картина. Те, кто занимается экспериментальной психологией, смотрят на психологов, занимающихся социальной психологией, как если бы последние ради выяснения направления ветра стояли посреди поля с поднятым вверх пальцем. Соответственно, и социальные психологи смотрят на экспериментальных психологов как на людей, которые показывают что-то на экране, нажимают на какие-то кнопки, выражают результаты измерений в невнятных единицах, а затем все это заносят в компьютер и проделывают сложные операции, в результате чего получают "высоконадежные" сведения непонятно о чем.

Впрочем, сказанное характерно не только для лингвистики и психологии, но и для многих социальных наук, оказавшихся в ситуации определенного разрыва между множественностью областей, в которых они работают, и отсутствием того, что можно называть *теорией среднего уровня* по Р. Мертону [Фрумкина, 1996].

Полезно осознать не только отсутствие таких теорий, но прежде всего *отсутствие потребности* в них. В этой связи осмелюсь коснуться и собственно социологической проблематики. Так, достаточно внимательно прочитать, например, И. Гофмана, чтобы понять, что его эпистемология - на уровне теории среднего уровня - никак не может быть объединена с веберизмом. Гофман - не "про другое", это просто *по-другому*, причем настолько по-другому, что надо еще подумать, существует ли вообще такая тео-

рия (или теории) среднего уровня, формулировка которых позволила бы считать упомянутых авторов работавшими в пределах *одной науки*.

Из сказанного следует, что говорить вообще "о лингвистике" или вообще "о психологии" - большое упрощение, поскольку мы не можем аккуратно зафиксировать рамки нашего обсуждения. Очевидно, тем не менее, что и психология, и лингвистика по необходимости создают *контекст* для социологии, потому что большая часть сведений, которые получают социологи, приходит к ним все-таки в форме *словесных высказываний* (подчеркну, что этим я отнюдь не хочу свести социологию к изучению общественного мнения).

Обращаясь к респондентам и далее - фиксируя свои наблюдения, социологи формулируют представления в виде каких-то классов и категорий, причем имена этих классов - идет ли речь о страдах, установках, настроениях или предпочтениях - обычно выражаются на языке, который ближе к бытовому, чем к терминологически проработанному. Тем самым пересечения с лингвистикой здесь неизбежны.

Однако, если обратиться к лингвистике как к самостоятельной науке, то мы увидим, что хотя она имеет дело со словами, за которыми стоят *смыслы*, и изучает закономерности появления новых слов, но она не умеет изучать процессы *порождения новых смыслов*. За вычетом фиксации имен новых реалий, лингвистика вообще не занимается смыслопорождением: его этапами, его закономерностями, неудачами во взаимопонимании и т.п. А *причины* появления новых смыслов лингвистика вообще не изучает.

Точно так же психология *фиксирует* появление нового типа отношений, например субъектно-объектных отношений в неполной семье, созданной женщиной, заведомо нуждающейся только в биологическом отце ребенка, но не в социальном. Но психология не изучает генезис их появления - а ведь нередко эти и подобные отношения в той же мере дефинированы психологически, в какой и социально. И все-таки они изучаются только как социально дефинированные: психологический аспект остается в стороне.

Приведу более развернутый пример индифферентности к законам смыслопорождения. В "Социологическом журнале" была опубликована интересная статья о восприятии душевнобольных современными российскими студентами [Бовина, Панов, 2005]. Проблема стигматизации душевнобольных (а нередко - и их родственников) в российском обществе весьма остра. Наш социум "своеобразно" относится к душевнобольным, что становится особенно заметным, если представлять себе, как к ним относятся на Западе. Авторы статьи никак нельзя упрекнуть в недобросовестности: в статье есть сложные расчеты, серьезные вычисления и т.п. Но при этом в упомянутой работе нет никакой преамбулы, где были бы ясно сформулированы собственно психологические и лингвистические постулаты, положенные в основу исследования.

Авторы изучали ассоциации - слова, которые в современном речевом обиходе возникают в поле представлений испытуемых о психически больном вообще (такие слова социум обычно использует как "клички" или "ярлыки" для душевнобольных - *ненормальный, псих, даун, странный, шизофреник*). Испытуемыми в этом исследовании были студенты-психологи и студенты технических специальностей. Цель авторов состояла в том, чтобы сопоставить, как эти группы респондентов воспринимают психически больных - считают ли они их неприятными, странными, представляющими угрозу для общества или, наоборот, вызывающими сочувствие, и т.п.

Я коснусь только первого этапа исследования, где на основе результатов эксперимента авторы составляют *словарь ассоциаций*. Но что стоит за этим набором слов, какова структура и содержание отраженных в именах *смыслов и представлений*, остается неясным. Ведь профессионал вкладывает в подобные слова один смысл, "рядовой" член общества - другой; человек, хоть как-то знакомый с материалом, не будет использовать слово *шизофреник* просто как бранное и т.п. У студентов-психологов, предположительно, должна быть некая рефлексия по поводу людей с психическими отклонениями; у студентов других специальностей эта рефлексия вполне может быть даже глубже, пусть и без "профессиональной" окраски.

Никаких отчетливых эпистемологических презумпций в статье не формулируется. И тогда возникает вопрос: а что, собственно, авторами изучалось? Работая со *словом*, авторы тем не менее не задаются никакими более общими вопросами - о многозначности любого слова, о том, что студенты-психологи отличаются от не-психологов не только тем, что сталкиваются с соответствующими словами как с *терминами*, но, возможно, в силу особого круга интересов. Тем самым этот контингент респондентов может обладать иным инвентарем реакций - не только на данные стимулы, но и на многие другие - допустим, в силу более высокого уровня начитанности или особого языкового чутья и т.п.

Стигматизация психически больных существует во всем мире и везде рассматривается как социальная проблема. Но у нас эта проблема имеет важные особенности. Перечислю лишь самые очевидные:

- помощь психически больным и вообще людям, испытывающим психологические трудности, не рассматривается в отечественном социуме как естественная черта цивилизованности;

- у нас гораздо больше больных, чем принято думать, а их положение - лечение, обеспечение, социальная помощь - унижительно для цивилизованной страны;

- российская психиатрия и в теоретическом, и в практическом плане еще не освободилась от язв "каратальной" психиатрии тоталитарного периода нашей истории.

Люди среднего возраста отлично помнят, что в свое время означало оказаться "на учете" в психиатрическом диспансере. Но мало кто знает, что теперь мы столкнулись с обратной проблемой: как только исчез вопрос об *обязательной* постановке на учет и о необходимости при любой поездке за границу и т.д. представлять справку, что вы "не состоите на учете", психодиспансеры стали полупустыми. Разумеется, это не означает, что у нас нет больных: просто сегодня больные существуют отдельно, а врачи отдельно. Кажется очевидным, что подобная аномальная ситуация затрагивает социум в целом, а не одних лишь больных или их семьи.

Другая сторона вопроса: всем известно, что *вменяемость* субъекта и его *дееспособность* - важнейшие правовые проблемы. Заключение о вменяемости и дееспособности суду предоставляют именно эксперты-психиатры. Но надо еще, чтобы и *социум* представлял себе, что это значит - отвечать за свои действия в момент совершения противоправных действий или не отвечать за них, будучи недееспособным или находясь в состоянии аффекта и т.п. (Это тем более актуально, что мы намерены ввести практику суда присяжных.)

Немаловажно также, что у нас вообще появились новые аспекты гражданских отношений, а следовательно, и необходимость *правовых* оценок, связанных с вменяемостью и ответственностью за свои поступки: например, масштабные имущественные тяжбы в связи с опекой, разделами имущества, наследованием и т.п. Тем самым социальная значимость психиатрических ярлыков и, соответственно, *социальная ответственность* тех, кто готов (нередко - вынужден) подобные ярлыки "навесить", невероятно возросла.

Но эти словесные ярлыки - как и любые знаки - наделяются *значениями* в результате определенных процессов кодификации. При этом сама кодификация еще должна быть социально акцептирована. Казалось бы, подобный процесс - порождение новых смыслов и их превращение в общепринятые - должна изучать лингвистика или психолингвистика. А социология, работающая с *результатами* кодификации, то есть с готовыми именами категорий, в этом случае могла бы сослаться на обоснование их смысловой наполненности, сделанное лингвистами. Ничего подобного, однако, не происходит.

Можно предположить: причины подобного положения вещей кроются в том, что лингвистика не умеет решать семантические проблемы на должном уровне или не считает соответствующую проблематику своей. Однако на самом деле именно в области изучения семантических закономерностей отечественная лингвистика совершила очень серьезный рывок. В начале 1960-х гг. отечественные достижения в этой области вышли на уровень, существенно превосходящий мировой. У нас была целая школа (позже ее стали называть Московской семантической школой), которая предложила изящные, обоснованные, очень красивые формальные описания языка. Они вошли в нашу линг-

вистическую традицию и в ней как бы растворились. Нынешние студенты даже не представляют себе, что работу человека со смыслами можно описывать иначе, нежели вполне формально, не привлекая данных психологии и уж тем более - не обращаясь к психологическому эксперименту для верификации сугубо лингвистических гипотез.

Эта ситуация исторически объяснима, хотя изнутри самой лингвистики мало кто задумывается, почему так получилось. Современная лингвистика вообще абстрагируется от того, что язык есть *орудие* человека, хотя соответствующий тезис постоянно повторяется как заклинание, причем с отсылкой к авторитету Л. Выготского. Но *успехи* теоретической лингвистики - а было бы странно их отрицать - лежат совсем в другой плоскости.

Язык, который является предметом лингвистики как науки, язык как объект познания - это некая абстрактная система, *langue* Ф. де Соссюра. Он не наблюдаем - наблюдаема *речь* (*parole*) как процесс функционирования этой системы. Именно наблюдая ее функционирование, исследователь должен умозаключать о том механизме, который это функционирование обеспечивает. С этого разделения начинается лингвистика XX в., которая успешно развивалась у нас в конце 20-х-начале 30-х гг. Р. Якобсон возглавил соответствующее направление в США, Н. Трубецкой - в Праге, а в СССР весь этот слой ученых-гуманитариев, как известно, в той или иной форме был изъят из науки - истреблен, разогнан.

Начиная с конца 50-х гг. XX в., лингвистика возрождалась у нас уже моим поколением, во многом - благодаря тому, что еще были живы наши учителя, некогда составлявшие общий круг с Якобсоном и Трубецким. И здесь существенно подчеркнуть, что движущей силой этого возрождения и расцвета были разные начинания, связанные с появлением комплекса подходов, который тогда называли *кибернетикой*. Задним числом очень просто говорить об иллюзиях, этим подходом порожденных: ведь максимальная формализация в описании структуры языка считалась достижением сама по себе. Не случайно О. Кулагиной, автору первой диссертации, защищенной в рамках нового подхода к изучению языка, была присуждена степень по *математике*, поскольку ее работа представляла собой теоретико-множественную модель русской падежной системы. Это была весьма "маломощная" модель, но для того времени она являла своего рода прорыв. Примерно в те же годы великий математик А. Колмогоров предложил формальное описание русского падежа, что было само по себе событием.

Было действительно сделано очень много; общие позиции были зафиксированы в монографиях и учебниках; новую лингвистику стали изучать студенты; в целом достижения тех "героических времен" сами по себе не оспариваются. Тем не менее со временем высветился и главный минус тех концепций: непонятно, что с ними можно делать, если на их основе пытаться описывать более или менее целостно, как говорит *реальный человек*. Ведь сам пафос, сам тип мышления, породивший эти концепции, был ориентирован на их применение для автоматического анализа и синтеза текста, - то есть для того, что в общенаучном обиходе называлось "*машинный перевод*" (теперь принято говорить *автоматический*).

Отмечу в скобках (поскольку для нашего обсуждения это лишь "боковая" ветвь) любопытный парадокс позднейшего использования математических методов, точнее - современных методов программирования для анализа текста: автоматический анализ и перевод текста состоялся, но он был выполнен в иную эпоху, другими специалистами и на основе совершенно иных теорий. Современный перевод текста с помощью компьютерных программ - это прагматическая реализация сугубо технической задачи, поэтому для лингвистов и психологов совершенно не важно, как именно соответствующие системы устроены¹.

¹ Достаточно того, что применение современных автоматических "переводчиков" позволяет получать примерный смысл текста, а современные методы анализа обеспечивают эффективность известного всем Яндекса и других систем подобного назначения. Другой вопрос - и ответ на него содержателен для представлений о недавней истории лингвистики - что сконструированы эти эффективные системы вовсе не на основе тех подходов, которые заслуженно прославили отечественную "новую лингвистику".

Итак, "те" подходы остались как самоценный опыт, как удачные описания языковых систем, но применить их к описанию реальных процессов говорения нельзя - они не для этого были придуманы. Очевидно, что если обсуждать данную ситуацию в контексте того, что называется *критикой* науки, то возникает некоторый разрыв: структурная лингвистика замечательна сама по себе, она оказала мощное влияние на другие гуманитарные науки и т.п., но все ее построения непригодны в качестве фундамента для описания процессов, реально протекающих в режиме говорения, слушания и понимания речи. Тем не менее в современной лингвистике есть менее формальные, но притом вполне авторитетные концепции, прежде всего концепция А. Вежицкой, успешно апроприированная нашей лингвистикой [Вежицкая, 1999].

Вежицкая - лингвист польского происхождения, давно живущая в Австралии. Она, в частности, обратила внимание на то, что многие обычные английские слова значат довольно разные вещи в Австралии и, допустим, в Англии или Америке, при том что, казалось бы, это один и тот же язык. Несомненные различия касаются не каких-то сугубо местных реалий или редко встречающихся слов, а слов частых и, казалось бы, указывающих на принципиально важные и конституирующие человеческую личность понятия и представления. Примером могут быть понятия *друг* и *дружба*. Все семантическое поле *друг*, которому в австралийском английском соответствует не английское *friend*, а англо-австралийское *mate*, в Австралии структурировано иначе, потому что отношение '**дружба**' как отсылающее к определенному культурному феномену в *культуре* Австралии "устроено" иначе, чем в Англии.

Из концептуальных построений Вежицкой - вполне прозрачных и являющихся, при всей их научности, еще и увлекательным чтением (ее основные труды переведены на русский) - сразу видно, как слова задают *поле смыслов* при условии, что мы знаем, в какой культуре это происходит. Вежицкая предложила специальный метаязык описания элементарных смыслов, позволяющий это раскрыть.

Вообразите Великобританию, с ее культурой дистантности, самостийности личности, вспомните специфический "демократический аристократизм", присущий английскому обиходу. Совсем иной является возникшая на своеобразных исторических основаниях культура Австралии, которая возникла как *культура равных*, при том что когда-то это были "равные каторжники".

Довольно закономерно, что вся сфера слов, описывающих отношения дружбы, в Австралии отличается от британской. Австралийское *mate* - что-то вроде 'приятель', 'кореш'. В Англии в среде более или менее образованных людей нет таких отношений, а потому нет и таких слов - подобно тому, как в обиходе образованных русских не говорят *братан*. А в Австралии обращение *mate* совершенно нормально, но при этом - подчеркиваю - нейтрально, подобно тому, как в определенной русскоязычной среде обращение на *ты* не является специфическим индикатором фамильярности. Кстати, в австралийском английском (как и в "оксфордском" английском) *формально* нет обращения на *ты*, но на самом деле, когда австралиец говорит *you*, он говорит *ты*, когда же англичанин говорит *you*, он (за исключениями реальной интимности в семье и т.п. ситуациях) говорит *вы*.

Тот же ход мысли приводит к любопытным результатам на материале других слов, выражающих важные культурные смыслы. Так, понятия 'Родины' или 'Отчизны' в Германии очень сильно окрашены спецификой немецкой истории, немецкой культуры, в России - спецификой русской культуры и русской истории, соответственно, в Соединенных Штатах - спецификой американской культуры и американской истории. По-русски мы привыкли говорить *у нас*, имея в виду - в России или в СССР; ровно тот же смысл имеет английское выражение *in this country*. Но когда, наряду с другими англицизмами вроде *gay!*.. в России стали говорить вместо *у нас* - *в этой стране*, немедленно нашлись "суперпатриоты", усмотревшие тут дурной смысл.

Близкие, вроде бы, смыслы и символы оказываются культурно различными - вспомните очереди за американскими флагами, которые мы могли видеть в телерепортажах после катастрофы 11 сентября. За отношением к государственному флагу как к симво-

лу единства нации стоят соответствующие способы оформить это отношение *словесно*, поскольку если в культуре какие-то смыслы наличествуют, то в языке всегда найдутся способы их выразить. Следовательно, социология, предлагая инструменты, которые никаким иным способом, кроме как *словесного выражения*, не зафиксировать, обязана все эти культурные феномены иметь в виду.

Казалось бы, сказанное выше самоочевидно и даже примитивно. Но сегодняшняя лингвистика в ее наиболее "продвинутой" части занята совсем иными сюжетами и располагает иными достижениями. И этими "иными достижениями" социология вообще не может пользоваться - как из-за своеобразия тематики, так и в силу отсутствия научной рефлексии и даже намеков на теорию среднего уровня².

Перейду к психологии как контексту для социологических изысканий. Здесь я ограничусь тем, что непосредственно наблюдаю в нашей стране. Если попросить назвать крупных отечественных психологов, которые сформировали школу, на которых в любой серьезной работе будут ссылки, а игнорирование их трудов будет восприниматься как нарочитый жест, все назовут одно имя - Выготский.

Парадокс состоит в том, что Выготского мало кто всерьез читал, а тот, кто читал, как правило, не понял. История рецепции трудов Выготского - любопытный сюжет, потому что на этом примере мы видим, что действительно замечательные начинания Выготского остались вообще вне внимания широкой научной публики, что они в свое время были не поняты, а позже не были достойно актуализированы [Фрумкина, 2006].

Выготский умер в 1934 г. - это существенно, поскольку современная психология сформировалась во многом именно в *последующие* семьдесят лет. При жизни Выготского практически ничего из его наиболее серьезных работ не было напечатано. Он не дожил нескольких месяцев до публикации книги "Мышление и речь", которая много лет входит во все обязательные списки литературы, начиная от студентов и кончая кандидатскими экзаменами. Я не пожалела времени, чтобы попытаться перечитать этот текст внимательнейшим образом, - и не нашла там того, что, как предполагается, принято там считать *главным*. По-моему, этого там просто нет.

Неудивительно, что даже на кандидатских экзаменах приходится выслушивать ответы, являющие собой заученные наизусть цитаты из Выготского: его центральные тезисы невозможно сформулировать своими словами - это язык, который, как минимум, нуждается в *переводе* на сегодняшние представления психологии. К тому же, смысл терминов у Выготского нередко меняется от странице к странице. Чтобы убедиться в том, что невозможно изложить его идеи *дискурсивно*, я перечитала весь шеститомник [Вы-

² Самая популярная и уважаемая область лингвистики сегодня - так называемая *лингвистическая типология*. Это область языкознания, которая занимается сравнением неродственных языков. Здесь полезно сделать некоторые комментарии, хотя сама эта область к проблемам социологии не имеет отношения.

При попытке выяснить, какова теория среднего уровня, конституирующая данную область лингвистики, мы сталкиваемся с весьма поверхностной мета-научной рефлексией, результатом которой является достаточно элементарная гипотеза. (Я останавливаюсь на этом потому, что сами типологи данную гипотезу вообще не формулируют, видимо, считая, что все и так понятно. Впечатление, что профессору это не занимает, а студенты вообще не приучены задумываться о предпосылках.)

Сильное предположение, лежащее в основе центральной гипотезы типологических теорий, состоит в том, что имеется некий "список" смыслов, которые должны быть *выражены в любом языке*. Так, в латыни есть глагольное время, которое называется *Plusquamperfectum*. Его семантика состоит в том, что оно позволяет указать на прошедшее время как предшествующее некоторому другому моменту прошлого. Аналогичная конструкция есть в английском, французском, немецком и прочих индоевропейских языках, но типологическая парадигма выделяется постулированием того, что хотя в языках иных семей соответствующие конструкции могут быть совсем иными, но упомянутый выше *смысл* (предположительно) и там *должен быть обязательно выражен*, пусть совсем иными средствами.

Если отказаться от этой исходной гипотезы (а ее эпистемологический статус типологами не обсуждается в силу якобы "очевидной" обоснованности), то все здание типологических штудий потеряет свой фундамент. Пока на этой своеобразной, но не рефлектируемой теоретической предпосылке строятся все типологические штудии, на которые на Западе выделяются огромные средства.

готский, 1982 - 1984] и убедилась, что таким путем можно лишь оценить масштаб автора как личности. Это, по существу, уже давно лишь памятник научной мысли определенной эпохи.

Оказалось, для понимания того, что именно сделал Выготский, надо читать не его, а А. Лурия, который в 1970-е гг. довольно много писал об их общей работе и еще более интересно об этом рассказывал в мемориальных лекциях и просто в беседах. Оглядываясь назад, я могу лишь сожалеть, что по молодости лет не могла задать ему "главные вопросы", потому что для этого надо было бы иметь собственный научный опыт, свои ошибки и свои гипотезы. Адекватные вопросы у меня возникли как следствие моих собственных экспериментов - но тогда мне пришлось уже обращаться к текстам Лурия и к воспоминаниям современников (например, [Лурия, 1974]). Что поучительно в работах Выготского-Лурия с точки зрения социолога?

В способах, с помощью которых мы воспринимаем окружающий мир, одно из центральных мест занимает операция, которая в другом контексте и другими авторами была названа "сжатием многообразия". Если бы мы пытались перерабатывать все, что, казалось бы, доступно нашим органам чувств, это было бы нереально и, в конечном счете, не оптимально для нашей же жизненной практики. Поэтому мы "вынуждены" признавать некоторые объекты *одинаковыми*, усматривая между ними разницу только в той мере, в какой это нужно для решения каждой конкретной задачи. Это значит, что в мире нет вещей похожих "вообще", одинаковых или разных "вообще". Они всегда похожи лишь "более или менее"; равным образом, они для нас обладают теми или иными свойствами не вообще, но лишь в рамках решения какой-то задачи, достаточно конкретной.

Человек (как и любой живой организм) не может непосредственно оперировать с многообразием мира, ничего с ним не делая, как если бы наше восприятие позволяло создавать всего лишь зеркальное отображение объекта. Человек всегда *сжимает* это многообразие, и то, как он это делает, - и есть самое интересное. Соответственно, в той мере, в какой социология имеет дело с человеком, она должна учитывать, что одна из основных психических операций, нами совершаемых, - *сжатие исходного многообразия*. Безусловно, самые разные способы такого сжатия и те конструкции, с которыми человек имеет дело в итоге этой операции, принципиально важны для понимания поведения.

Напомню об "искусстве", который пришел в психологию с появлением вычислительных машин и всяких тонкостей, связанных с математическим моделированием процессов сжатия многообразия и попытками передать эти функции машине. Понятно, что когда мы говорим о том, как те или иные операции *выполняет машина* - это просто короткий способ сказать о том, что мы создали программу, реализуемую потом в виде алгоритмов для компьютера.

Здесь существенно не то, как именно реализуется тот или иной алгоритм в аспекте конкретных операций, а то, что машина это всегда делает тем способом, который мы туда записали в виде алгоритма. Человек же делает это *каждый раз по-разному*, причем мы даже не можем охватить воображением ареал возможностей, из которых он делает свой выбор [Семантика... 1991]. Можно сформулировать эту проблему иначе: в распоряжении человеческого интеллекта одновременно имеются разные способы решения конкретной задачи; мы не только не можем учесть, что влияет на выбор того или иного способа, но не умеем даже эти способы перечислить.

Я когда-то задавала такой вопрос: почему Г. Каспаров проиграл компьютеру Deep Blue и почему было так много ожиданий, что он выиграет? Как известно, был огромный перепад в сложности и мощности предыдущей машины, у которой он выиграл, и Deep Blue - машины, которой он проиграл. Меня интересовало, появилось ли в принципах устройства программ Deep Blue что-то принципиально новое? Как известно, взаимодействие человека и машины при игре в шахматы основано на том, что в памяти машины записаны все важнейшие из когда-либо сыгранных партий. И всякий раз, когда на доске обнаруживается та или иная позиция, в памяти машины актуализируется партия, в которой эта позиция имела место и была успешно использована. Профессионалы мне

долго объясняли, что Deep Blue отличается от предшествующих программ только объемом памяти и быстродействием. Акцент был сделан на том, что до сих пор не ясно, можно ли вообще добавить что-либо кардинально важное, способное сообщить машине преимущество перед гроссмейстером. Оказывается, мы не знаем, как именно гроссмейстер *видит доску*, - ведь он видит не 64 клетки с фигурами, а "позицию". Но что это значит в точности? Видимо, то, что, исходя из положения вещей на данный момент и своих представлений об излюбленной тактике противника, гроссмейстер прогнозирует его возможные ходы, свои возможные ответы и оптимизирует собственную *позицию* на каждом следующем шаге.

Поскольку всякий раз это многовариантная стратегия, мы не умеем представлять ее в виде алгоритма, разве что с принципиальными упрощениями. Соответственно, мы и не можем передать эту стратегию машине. *Строго говоря, мы не знаем, что такое позиция.*

Я поинтересовалась, значит ли это, что Каспаров проиграл Deep Blue только за счет супербыстродействия компьютера? Оказывается, профессиональная интерпретация именно такова. Но ведь такой результат ничего не подтверждает и не опровергает. Машину можно сделать еще более быстродействующей, следующий чемпион проиграет, а если и выиграет, то, конечно, случайно. Иными словами, суть в том, что человек не только обладает фантастическими возможностями сжатия многообразия, но еще и может делать это *разными способами*. Здесь психологическая наука останавливается, поскольку пластичность человеческого мозга мы не умеем описывать и, тем самым, не знаем, как ее можно моделировать.

Выготский первым увидел это в материале во многом благодаря тому, что в свое время Лурия реализовал его желание понять, происходят ли какие-то изменения в мышлении взрослых людей, впервые получивших начатки формального образования. С этой целью Лурия в начале 1930-х гг. поехал в экспедицию в Узбекистан, где попытался в эксперименте проверить гипотезу Выготского о том, что даже начатки школьного образования существенно продвигают возможность человека мыслить более абстрактно. Как известно, массовая кампания по ликвидации неграмотности и внедрения разных форм школьного обучения в начале 1930-х гг. действительно охватила даже далекие среднеазиатские кишлаки. Формальное школьное обучение проникло в традиционное общество, что для человека, получившего хотя бы начатки такого образования, влечет за собой *возможности* иного взгляда на привычные ситуации.

Лурия опрашивал крестьян, предъявляя им для опознания некоторые геометрические фигуры - круг, полумесяц, квадрат, цепочку из маленьких кружочков, - и спрашивал, что они видят. Те, кто не учился, естественно отвечали: "это луна, это бусы, это коврига хлеба" и т.д. А те, кто учился, отвечали: "это круг, квадрат" и т.п., потому что этому их учили в школе.

Впрочем, такая ситуация объяснима. Гораздо менее очевидны были другие результаты, показывающие, что никакими силами от людей, не учившихся в школе, не удавалось добиться того, что называется в психологии *категориальной классификацией*. То есть если перед крестьянами лежат пила, топор, нож и иные предметы, с помощью которых обрабатывают дерево, и эти вещи предъявляются вместе (можно предъявлять сами объекты, слова или картинки, неважно), то они никогда не объединят пилу, нож и топор как *инструменты*, а положат вместе бревно и топор, потому что естественно объединить то, что *надо разрубить* или обстругать, и то, чем это привычно делается. И дело не в том, что обследованные крестьяне были "неспособны" к обобщению - просто их культура не требовала от них решения подобных задач. Зато те, кто учился в школе, более или менее представляют, что в языке есть обобщающие слова, и знают, когда они употребляются.

Как ни поразительно, именно эти уникальные по значимости эксперименты некогда послужили поводом для травли Выготского. Сейчас уже трудно реконструировать логику той "кампании", в результате которой его лабораторию закрыли, а сам он умер безработным. Лурия фактически оставил навсегда эту область исследований и в дальней-

шем стал крупнейшим специалистом по изучению травм головного мозга и их последствий для нарушения речи, восприятия, поведения и т.д.

Так что Лурия прославился отнюдь не как последователь Выготского. Но годы, проведенные совместно с Выготским, и результаты, полученные в Узбекистане, - это, видимо, было самым значимым в его научной жизни. Поэтому, когда в начале 1970-х гг. социальная обстановка изменилась, Лурия стал рассказывать про ту экспедицию, потом написал книгу - лучший ее вариант издан на английском языке [Luria, 1976]; у нас она вышла раньше, но в несколько урезанном варианте [Лурия, 1974]. Английский вариант у нас сравнительно мало известен и незаслуженно мало популярен. А ведь именно из него можно понять, что наша наука потеряла из-за запрещения дальнейшей работы по этой тематике, вполне пионерской по тем временам.

Значимость этой тематики в контексте нашего обсуждения состоит в том, что самым сложным для интерпретации оказывается понять, как человек кодирует и декодирует смыслы самых простых слов. Так, странно было бы объяснять смысл слова *чашка* путем указания на нее как на *сосуд полукруглой формы с ручкой*. Квадратная в плане чашка - не такая уж редкость, а если сделать две ручки, чашка все равно останется чашкой. Главное же - то, что *из нее пьют*. Иными словами, существенна ее *функция*.

Здесь самое время предположить, что указания на функцию в виде "из нее пьют" будут доминировать в объяснениях людей типа тех, с которыми Лурия работал в Узбекистане, а образованный человек будет пользоваться обобщающими категориями - ведь именно они позволяют эффективно сжать многообразие. Все, однако, обстоит куда интереснее.

В частности, если предложить взрослым образованным людям набор слов из области, которую в целом можно называть **посуда**, то они отнюдь не будут сжимать это многообразие до тех категорий, которые наука считает *обобщающими*. Испытуемые объединят тарелку и вилку с ножом и скажут: "это чтобы есть". И так поступают все, начиная от людей с начальным образованием и включая профессуру, потому что это *естественный для человека способ мышления*. Подобный способ кодификации как сжатия многообразия работает идентично у разных людей и на разных множествах объектов - разумеется, если не подбирать в качестве стимулов круги, квадраты и треугольники.

При категоризации набора объектов, являющих собой часть житейского опыта субъектов, они будут проецировать на это множество именно свой житейский, повседневный опыт, а не абстрактные правила. Пока испытуемый остается в пределах своего житейского опыта, он и воспроизводит именно "житейские" категории, а не некие логически правильные структуры. Я проверяла это на очень разных людях и на очень разных объектах. Здесь мы имеем абсолютно преобладающий для человека способ категоризировать объекты [Семантика... 1991].

А если вы просите повторить категоризацию, не указывая зачем это нужно, то, как сказал один мой испытуемый: "Я, конечно, могу сделать и иначе, *если вам это нравится* - вот сложу сюда все эти ваши рюмки - бокалы - фужеры, поскольку *это не используется в повседневной жизни!*" Я совершенно не ожидала, что разница между тем, что естественно для самого испытуемого, и тем, что он может сделать, угадывая ожидания экспериментатора, будет выглядеть столь броско, но именно так и выходит всякий раз.

Значит, категоризационное поведение детерминируется спецификой задачи, понятой совершенно *локально*, и это - не дефект ума или просто следствие отсутствия образования. А ведь есть масса тестов, основанных на таких категоризациях, где предполагается, что вы должны - если вы умственно развиты - сделать так, как "в книжке написано", то есть предъявить непересекающиеся логические кодификации вида *обувь, одежда, фрукты, посуда*, и т.п. Но естественным образом так никто не делает, разве что вы специально этого потребуете, задав, например, названия самих категорий.

Мы проводили опыты среди людей традиционной культуры в Нагорном Карабахе (то были очень пожилые люди, которые если и учились в школе, то в силу возраста дав-

ным-давно забыли об этом). Перед ними лежали пачка чая, деревянный кубик такой же формы, шарик, пряник в форме полусферы, большой кубик. Решая задачу поместить вместе похожие предметы, они не объединяют пачку чая и кубики: с точки зрения житейской, это лишено смысла. Они берут пачку чая и пряник, а отдельно кладут деревянные кубики и шарик. И говорят: "Это, видимо игрушки детские, да? А это понятно, что такое: чай пьют с пряником" [Михеев, 1985].

Подчеркну, что подобное поведение вовсе не является исключительным свойством людей, у которых нет образования. Это *наше* естественное поведение. Значит, мы можем вести себя *гибко* - именно это отличает здоровых испытуемых от больных с травмами мозга и некоторыми другими патологиями.

Известны опыты крупнейшего немецкого психолога и психиатра К. Гольдштейна, который после прихода к власти А. Гитлера эмигрировал в Америку вместе с основными сотрудниками своей лаборатории (я имею в виду прежде всего итоговую работу, опубликованную уже в 1940-е гг. [Goldstein, Scheerer, 1941]). До Гольдштейна долго полагали, что больные с мозговыми травмами, а также многие больные с собственно психическими патологиями (шизофрения и т.п.) способны исключительно на так называемое "конкретное" мышление. Именно словосочетание "конкретное мышление" применялось к описанию мышления народов традиционной культуры, о которых принято было говорить, что они обладают "имитационным практическим сознанием". В частности, это как раз тот контингент, с которым работал Лурия в Узбекистане и мы - в Нагорном Карабахе.

Оказалось, что испытуемые Гольдштейна в экспериментах с категоризацией предметов поступали практически так же, как и здоровые, - за одним исключением. Когда их просили *повторить* категоризацию на том же материале, но сделать это как-нибудь *по-иному*, то они не могли изменить тот принцип, который уже был ими ранее выбран. Иными словами, они *ригидны*, в этом и состоит их ущербность, их патология. Причиненная им травма лишает их свойственной здоровым индивидам гибкости мышления. У них есть какой-либо один способ сжатия многообразия - и по-другому они выполнить задание не могут.

Здоровый индивид замечателен тем, что он абсолютно гибок и может выделить какие-либо одни категории, а может поступить и иначе. Он может и объяснить рационально и то и другое, если только не поступает назло экспериментатору, что случается крайне редко.

Это значит, что в обыденной, житейской ситуации - если мы ее опознаем подобным образом - мы ведем себя аналогично людям, которые вообще не учились в школе и не привыкли к формальным процедурам, к "классам", "категориям" и т.п. В повседневной жизни мы все мыслим *обычным образом*, то есть группируем тарелки с чашками и ложками, прилагая к этому, предположим, чайник; или группируем отдельно посуду, которая стоит на кухне, а отдельно - праздничную посуду, в отличие от кухонной и будничной и т.д.

Это же касается любых объектов, за исключением случаев, когда сам материал содержит четкую суггестию в виде явных классов. Если человеку предложить набор из вырезанных из бумаги квадратов и треугольников, он и поделит все множество на квадраты и треугольники, поскольку экспериментатор "заложил" такую категоризацию в материал. (Дети могут и построить домик: квадрат - "корпус" дома, треугольник - крыша, но здоровые испытуемые в среднем этого не делают.)

Мне кажется, что высказанные выше соображения представляют собой принципиально важные контексты для социологии как для науки, которая в своей основе имеет *опытное* исследование социальной реальности. Любые социологические теории конструируются на основе каких-то наблюдений. Наблюдения обобщаются в зависимости от того, что мы считаем *одинаковым* и *разным*. Процедуры строятся на основе гипотез о том, как поступают информанты, при этом задания (вопросы) даются в основном в словесной форме. Тем самым мы погружаемся в феноменологию, составляющую предмет лингвистики и психологии.

В процессе исследования социальной реальности это должно учитываться. Другой вопрос, как именно? Ответ я оставляю социологам как профессионалам.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Бовина И. Б., Панов М. С. Обыденные представления о психически больных в студенческой среде // Социологический журнал. 2005. N 3.

Вежбицкая А. Семантические универсалии и описание языков. М., 1999.

Выготский Л. С. Собр. соч. в 6 т. М., 1982 - 1984.

Лурия А. Р. Об историческом развитии познавательных процессов. М., 1974.

Михеев А. В. Свободная классификация набора предметов (эксперимент в Нагорном Карабахе) // Лингвистические и психолингвистические структуры речи. М., 1985.

Семантика и категоризация. М., 1991.

Фрумкина Р. М. Культурно-историческая психология Выготского-Лурия. М., 2006 (Препринт WP6/2006/01. Гуманитарные исследования ИГИТИ).

Фрумкина Р. М. Теории среднего уровня в современной лингвистике // Вопросы языкознания. 1996. N 2.

Goldstein K., Scheerer M. Abstract and Concrete Behavior: An Experimental Study with Special Tests // Psychological Monographs. 1941. Vol. 53. N 2 (239).

Luria A.R. Cognitive Development: Its Cultural and Social Foundations. Cambridge (Mass.)-London, 1976.